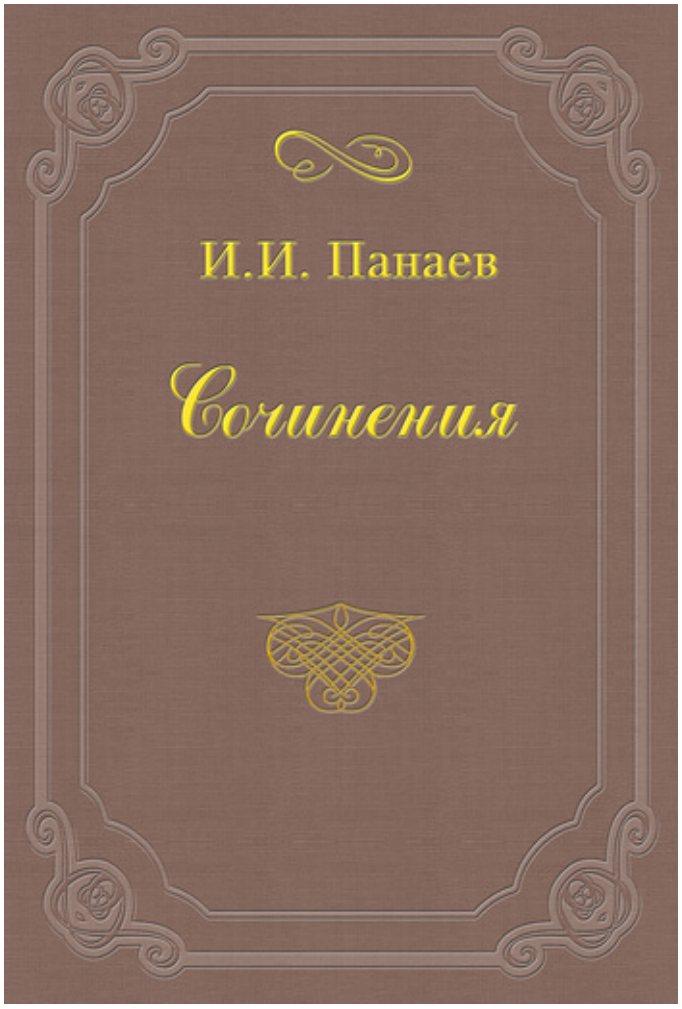
И.И. Панаев
Сочинения

**Иван Иванович Панаев**

# Великосветский хлыщ

Серия «Опыт о хлыщах»

*Текст предоставлен правообладателем*
*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=660145*

## Аннотация

«Я знаю лет двадцать Грибановых. Отличнейшее семейство и притом с артистическими наклонностями. Музыка, скульптура, живопись, литература составляют жизнь этого семейства. Оно совсем погружено в изящное. Всякий артист, какой бы маленький талантик ни имел, в какой бы крошечной сфере ни действовал, хотя бы только искусно играл на балалайке, наверно будет принят в этом почтенном семействе с распростертыми объятиями…»

# Содержание

Глава I. Дагерротип с артистического семейства и о том, как приятно проводить время в таких семействах 4
Глава II. О том, каким образом великосветские хлыщи пускают пыль в глаза перед людьми простыми и как простые люди робеют и делаются неловкими перед великосветскими хлыщами 12
Конец ознакомительного фрагмента. 20

# Иван Иванович Панаев
# Великосветский хлыщ

## Глава I. Дагерротип с артистического семейства и о том, как приятно проводить время в таких семействах

Я знаю лет двадцать Грибановых. Отличнейшее семейство и притом с артистическими наклонностями. Музыка, скульптура, живопись, литература составляют жизнь этого семейства. Оно совсем погружено в изящное. Всякий артист, какой бы маленький талантик ни имел, в какой бы крошечной сфере ни действовал, хотя бы только искусно играл на балалайке, наверно будет принят в этом почтенном семействе с распростертыми объятиями. Литератор бежит туда читать свое новое произведение, еще не оконченное; художник показать свои эскизы, только что набросанные небрежно карандашом, и в которых ровно ничего разобрать нельзя, – и тот и другой уверены, что найдут глубочайшее сочувствие. Хозяин дома, с большим искусством вырезывающий из бумаги силуэты; его свояченица, заменившая в доме умершую хозяйку, превосходно лепящая цветы из воска; сын, пишущий стихи; дочь, занимающаяся живописью и музыкой, – все ахают и восхищаются, слушая новое произведение литератора и рассматривая новые эскизы художника, и потом повторяют своим знакомым в течение по крайней мере месяца, каждому по очереди: «Ах! какую повесть читал нам NN!..» «Ах! какие эскизы показывал нам Д. Д.!..» «Ах, сколько у них таланта!..» и проч. Доброта этих людей простирается до того, что они приходят в восторг от всякого, даже плохого произведения, если только оно в первый раз прочитано или показано в их доме. Правда, о произведениях замечательных и талантливых, которые не были им читаны или показаны, отзываются они хладнокровно, но это вследствие искреннего убеждения, что ни одно замечательное произведение не может не быть предварительно им известно, что все художники, поэты, музыканты, скульпторы, литераторы, певцы и певицы, знакомые им, – люди, непременно обладающие высокими талантами, и что те, которые не имеют этой чести, едва ли могут иметь и дарование. Нежная привязанность друг к другу, соединяющая членов этого семейства, поистине замечательна. Отец обожает своих детей, дети обожают отца, тетка обожает племянника, племянник тетку… В этом доме все обожают друг друга. Если отец вырежет какой-нибудь новенький силуэтик, сын немедля приходит от него в восхищение и бежит к тетке.

– Посмотрите, – говорит он, – какую удивительную вещицу вырезал папенька, с каким вкусом, с каким изяществом, это просто художественно!

– Ах, какая прелесть! – восклицает восхищенная тетка. Если сын напишет стихотворение и прочтет его отцу и тетке, отец, пожимая плечами от удивления, со слезой на реснице восклицает:

– У, как это хорошо! Какой стих! Какая мысль! Я никогда ничего не слыхал лучше этого!

И при этом голос отца задребезжит, умиленный, как порванная струна.

– Это маленький chef-d'oeuvre! – восклицает тетка, всплеснув руками.

Затем оба они, отец и тетка, закричат:

– Пелагея Петровна! Пелагея Петровна!

Приживалка, вроде ключницы, прибежит на этот крик, запыхавшись, но с приятной и подобострастной улыбкой, которая замерла на лице ее и которая не оставляет ее даже в самые горькие минуты ее жизни.

– Что прикажете-с?

– Послушайте-ка, матушка, – скажет отец, прищелкнув языком, – какие новые стихи написал Иван… лучше ничего не было написано на русском!

– Ах, какие стихи! – повторит тетка. – Пожалуйста, друг мой, не поленись, прочти еще раз.

И она нежно взглянет на племянника. Племянник мгновенно повинуется и начнет читать; отец между тем качает в такт головой во время чтения и, смотря на Пелагею Петровну, говорит:

– Слушайте, слушайте! (хотя та и без того благоговейно слушает, даже разиня рот от излишнего внимания). Каков стих-то! Каков стих-то. Замечаете, а?

И ударит по плечу Пелагею Петровну, а сам так и зальется слезами, хоть бы стихи были комического содержания.

Вечером, когда явятся гости, сначала приживалка, разливая чай, шепнет непременно каждому на ушко: «Иван Алексеич написал новое бесподобное стихотворение!» Потом отец, не более как через четверть часа после приживалки, барабаня по столу, не утерпит и вдруг брякнет среди разговора вовсе некстати:

– Что, Иван ничего вам не показывал?

– Нет-с, – ответит гость.

– Заставьте его прочесть: он написал новое стихотворение… Это вещь капитальная, необыкновенно хороша! Из него вырабатывается что-то очень серьезное!

И открытое, добродушное лицо старика выразит столько счастья при мысли, что он произвел на свет такое гениальное дитя, что и гость, даже самый нечувствительный, невольно расчувствуется.

Тетка, в свою очередь, с свойственною ей любезностию и приятностию занимая гостей, не упустит ввернуть словцо:

– Я знаю, m-r такой-то, что вы любите поэзию или интересуетесь литературой (что-нибудь вроде этого). Ах! если бы вы знали, какое Иван Алексеич написал стихотворение! Мне, как родной, совестно хвалить, но вы сами услышите. Погодите, я его упрошу прочесть.

И она начнет искать глазами племянника. Но племянник вдруг как из-под полу выскочит перед теткой, сладко улыбнется гостям, посмотрит на них заискивающими глазами и скажет:

– Нет, тетушка, это, право, не стоит того, довольно слабая вещица, когда-нибудь после, не теперь.

Но тогда гости начинают приставать к нему:

– Пожалуйста, прочтите, сделайте одолжение, мы так много слышали…

– Ну прочти же, братец, прочти, – вскрикнет вдруг откуда-то появившийся отец.

Около поэта составится кружок, и он начнет декламировать, изредка прерываемый восклицаниями: «Превосходно, прекрасно!» После декламации тетка отведет одного или двух гостей в сторону и произнесет шепотом: «Не правда ли, какой талант?» На что гостям ничего более не остается, как отвечать: «О, удивительный!»

Иногда сын потащит гостей в кабинет отца и скажет им:

– Позвольте-ка, господа, я вам покажу чудную вещицу. Папенька вырезал недавно целый пейзаж.

И, входя в кабинет, он начнет рыться в портфеле отца, приговаривая:

– Куда это старик зарыл его? Не любит, чтобы смотрели… Чудак!.. да мы отыщем… погодите… Вот, вот, вот!.. Взгляните, как хорошо задумано, рассмотрите эту фигуру, сколько

в ней выражения, а это дерево? Ведь это дуб, настоящий дуб!.. Вглядитесь хорошенько… Какое искусство!

И гости рассматривают и удивляются. В такие минуты всегда нечаянно входит отец:

– Иван, Иван, – говорит он, грозя ему пальцем, – что это, полно, братец: ну стоит ли это смотреть… Это так я, шалю на старости, от нечего делать.

– Помилуйте, – восклицают гости, – какая это шалость! Это чистейшее искусство!

– Оно-таки точно недурно, – заметит старик, постепенно увлекаясь, и продолжает уже голосом, дрожащим от умиления, – вот обратите внимание особенно на эту коровку, что наклонилась к водопою… Поль-потеровская коровка-то! Сколько жизни в этом движении, заметьте, заметьте… Ах, кабы не лета, глаза уж служить отказываются, не то бы я еще сделал!

И у старика закапают слезы…

В квартире Грибановых, за исключением будуара и гостиной, устройством которых занимается Лидия Ивановна (так зовут тетку), совершенно артистический беспорядок: на столах валяются старые рукописи, исписанные стихами, клочки бумаги с различными вырезками, краски, книги, рисунки, и все это покрыто постоянно слоем пыли; но зато будуар и гостиная, это, так сказать, небольшие храмы изящного: занавесочки, этажерочки, куколки, деланный и настоящий плющ, гравированные картинки, коврики, вышитые подушки с кисточками, цветные фонарики, пресс-папье, бронзовые ручки, ножи для разрезывания книг, печатки – все это размещено с замечательным искусством на весьма малом пространстве. В одном только углу будуара груда воску и краски; этот угол Лидия Ивановна называет своим ателье. Лидии Ивановне лет под пятьдесят, но при вечернем освещении она кажется несравненно моложе своих лет, чему немало способствуют различные украшения ее туалета: пукольки, бантики, кружевца, цветочки, употребляемые в большом количестве. Она говорит обыкновенно голосом тихим, более походящим на шепот, и недосказанное или недослышанное договаривает глазами, на которые, кажется, значительно рассчитывает, потому что эти глаза, по замечанию старожилов, производили большое впечатление… В выражении лица и во всех ее движениях необыкновенная мягкость, которую только злые языки называют лицемерной сладостью. Алексей Афанасьич (так зовут г. Грибанова) отличается простотою обращения, искренностью в речах и в манерах, совершенною бесцеремонностью, способностью от всего умиляться и постоянно слезящимися глазами. Он весь нараспашку для всех вхожих в его дом… Ему и в голову не приходит, чтобы человек дурной, насмешливый или подозрительный мог перешагнуть через порог его квартиры. Со всеми одинаково простодушен и приветлив, – он при всех, даже при посторонних дамах, является всегда подомашнему: в затасканном сюртуке и в старых плисовых туфлях, с листом бумаги и с ножницами. Ему лет под шестьдесят; но он кажется старее своих лет, потому что не имеет ни малейшего поползновения бодриться и молодиться. В чертах его лица много приятности, которая невольно располагает к нему с первого взгляда. Он не вмешивается ни во что в доме, и если у него о чем-нибудь спрашивают, то обыкновенно отвечает: «Я не знаю, спросите у Лидии Ивановны». Он не распоряжается ничем, не располагает ни одною копейкою; все, что приобретает, он несет к Лидии Ивановне. Состояние их маленькое; но чтобы «прилично поддерживать себя», как выражается Лидия Ивановна, Алексей Афанасьич очень усердно трудится и служит, не имея ни малейшего расположения к службе и труду. Будь он один, он и не подумал бы о службе; зимой лежал бы себе целый день на боку да вырезывал бы свои силуэтики, а летом бродил бы по лесу за грибами. Свои служебные занятия он считает пустяками, а делом – вырезывание фигурок из бумаги, и хотя служебные занятия очень тяготят его, но он никогда на это не жалуется и никому не говорит, как это ему не по сердцу, для того чтобы не огорчать Лидию Ивановну. Разве иногда только, когда уж придется невмочь, когда его завалят делами, он вздохнет и промолвится приятелю: «Ах, если бы побольше средств,

бросил бы все это и посвятил бы себя исключительно одному искусству. Ведь у меня все наклонности артистические, ведь я рожден артистом!»

Для Алексея Афанасьича все знакомые равны; у Лидии Ивановны есть фавориты между знакомыми и между домашнею прислугой: она не может существовать без фаворитов. Сыну Алексея Афанасьича, Ивану Алексеичу, двадцать четыре года, но ему кажется лет под тридцать. Он не заботится о своей внешности, потому что весь погружен в свой внутренний мир, весь проникнут своим призванием. И Лидия Ивановна, вовсе не пренебрегающая внешностью, не только прощает ему его небрежность, но находит, что в нем это иначе и быть не может, потому что все люди высших талантов, как известно, мало занимались своим туалетом… Она в этом случае совершенно справедливо рассуждает про племянника: «Он чудак, потому что все поэты немножко чудаки!» – и при этом с чувством родственной гордости прибавляет: «Поверите ли, он и галстуха даже повязать не умеет, я всегда сама ему повязываю галстух».

На этом молодом стихотворце, не умеющем повязывать галстух, основано все счастье, все надежды, вся гордость артистического семейства. Это блестящий талант, разливающий свой блеск на все его окружающее; центр, около которого группируются остальные семейные талантики. Он дает тон и направление всему семейству… Отец и тетка, заменившая мать, только отражают и распространяют его мысли. Те из знакомых, которые не безусловно разделяют этот образ мыслей и имеют неосторожность обнаружить некоторое противоречие, утрачивают обыкновенно доброе расположение почтенного семейства и причисляются к людям остановившимся, не способным идти вперед – просто к отсталым. Чтобы пользоваться его постоянною благосклонностью и радушием, чтобы прослыть в семействе за человека замечательного и умного, необходимо в каждый данный момент стоять в уровень с Иваном Алексеичем: останавливаться вместе с ним, идти вперед или отодвигаться назад. Но и отодвигаясь назад, уверять и себя и других, что двигаешься вперед и что те, которые в самом деле идут вперед, останавливаются или отодвигаются назад.

Приговор сына есть приговор окончательный для отца и для тетки. Он решил, что у сестры Наденьки недостает чувства (может быть, потому, что она не так восторгается его стихами, как остальные члены семейства), и они безусловно приняли этот строгий приговор, и никакие факты не разуверят их в противном. Отец, узнав об этом в первый раз, глубоко огорчился… «Ах, жаль, – думал он, – Наденька, моя девочка, славная и добрая, если бы у нее только чувства-то побольше, вот ее недостаток!» – «Но отчего же недостает у нее чувства? – робко в то же время шептал ему внутренний голос, – когда ты, например, болен, она и днем и ночью ни на шаг не отходит от твоей постели, она так заботливо ухаживает за тобою…» Старик задумывается. У него слезы навертываются на глазах при воспоминании о том, что шептал ему внутренний голос. «Нет, что бы ни говорили, а у нее много чувства!» – продолжает смелее внутренний голос. Старику очень хочется поверить внутреннему голосу; но в эту минуту, как нарочно, подвертывается сын и начинает с большим красноречием и убедительностию доказывать, что такое чувство и почему именно у сестры недостает его. Старик мгновенно колеблется, слушая эти красноречивые речи; он заглушает внутренний голос и снова повторяет про себя: «Жаль мне, очень жаль бедную Наденьку!»

Наденьке девятнадцать лет. В лице ее много приятности и много выражения в небольших серых глазах. У нее есть голосок, и она недурно поет различные романсы, как-то: Я видел деву на скале, Цветок, Сто красавиц чернооких, Любила я, и проч. Она хорошо сложена и отличается от всех своих подруг простотою обращения и совершенным отсутствием тех прекрасных манер, которые в сущности не что иное, как жеманство и ломанье…

Все это я говорю в настоящем, хотя этому прошло много лет, но я как будто теперь вижу перед собою девятнадцатилетнюю Наденьку в белом кисейном платье с клетчатым шотландским поясом, беспечную и веселую, срисовывающую букет цветов с натуры, а про-

тив нее облокотившегося на стол молодого человека очень приятной наружности, внимательно следящего за движением ее кисти. Она по временам взглядывает на него, улыбаясь, и в эти минуты лицо молодого человека сияет счастьем. Мне всегда казалось, глядя на них, что они созданы друг для друга…

Я езжал в дом Грибановых раза два в месяц, по четвергам. Это были их дни. По четвергам сходились к ним самые близкие их знакомые, по большей части артисты и литераторы. Невозможно передать, какое радушие и гостеприимство царствовало в этом доме, сколько искренности расточалось со стороны хозяина, сколько любезности со стороны хозяйки, сколько предупредительности, глубокомыслия и сладких улыбок со стороны сына. На этих четвергах всякий этикет был изгнан; каждый чувствовал себя как бы дома: гости являлись запросто в сюртуках, приводили с собой своих знакомых, не предупреждая даже об этом хозяев, и вновь представленные не более как через полчаса ощущали, будто они век знакомы в доме… Все засядут, бывало, за круглый стол, на котором дымится исполинский самовар, закурят трубки и папиросы, и пойдут толки об искусствах и литературе. Кто-нибудь из присутствующих коснется поэзии, и при этом знаток русской словесности и отчасти литератор, по фамилии Пруденский, имевший в семействе репутацию отличного декламатора, вскочит со стула и с угрожающим жестом и густым басом продекламирует новое стихотворение Ивана Алексеича, к несказанному удовольствию его папеньки и тетеньки, и, окончив декламацию, с тупою улыбкою обведет глазами собрание, сядет, и вслед за тем посыплется град восклицаний: «Превосходно! чудо! какие стихи и как вы декламируете!»

– Удивительно! – заметит Лидия Ивановна, подкатывая глазки под лоб, – а вот наш Иван Алексеич совсем не умеет читать своих стихов.

– Нечего сказать, таки не мастер, – возразит Иван Алексеич, приятно усмехаясь.

– Зато уж писать мастер! – прибавит непременно Пруденский.

– Пишет-то недурно, нечего сказать, недурно, – промолвит с самодовольствием отец, взглянув на сына с чувством, и потреплет его по плечу.

А между тем приживалка Пелагея Петровна то и дело что наливает стакан за стаканом, так что пот градом льется из-под чепца ее; пар от самовара и дым от трубок и сигар гуще и гуще расстилаются по комнате, и в этом чаду трудно уже наконец разбирать лица. Между чаем и ужином Наденька сядет за фортепьяно, пропоет «Сто красавиц чернооких», а молодой человек, влюбленный в нее, станет сзади ее стула и дрожащей рукой начнет переворачивать ноты. Когда она кончит, Лидия Ивановна скажет ей, бывало: «Ну, довольно», кивнет головой и обратится к одной из постоянных посетительниц этих вечеров, барыне лет под тридцать, одетой с необыкновенной изысканностью и беспрестанно поводящей плечами и передергивающейся:

– Аменаида Александровна, душечка, спойте нам что-нибудь… У вас такой прелестный голос. Je vous prie…

– Pour rien au monde, ma chere, я не в голосе, – обыкновенно возразит на это Аменаида Александровна, – я не могу.

– Полноте, полноте, матушка, вы всегда в голосе, – заметит Алексей Афанасьич, – садитесь-ка, садитесь-ка, что тут много толковать…

– Я вам говорю, что я не могу. Comme c'est drole!..

Тогда сын подойдет к Аменаиде Александровне и начнет упрашивать ее… Наконец барыня решится, встанет, сбросит с себя мантилью, обнажит свои плечи, обдернется и подойдет к фортепьяно. Здесь, впрочем, начнется опять: «Ей-богу, я не могу, у меня болит горло; я не знаю, сколько времени я не пела», и тому подобное… Но дело всегда кончится тем, что барыня затянет:

Цветок засохший, безуханный… Или:

Коварный друг, но сердцу милый, – и проч. И с последней ноткой обратится к гостям: «Вот видите ли, я совсем не могу петь!» и коснется рукою до горла, как будто желая показать, что ей там мешает что-то. «Браво, браво», – воскликнет Алексей Афанасьич и захлопает в ладоши, посматривая на гостей и поощряя их к тому же. Тогда раздастся гром рукоплесканий, после которых Лидия Ивановна подойдет к Аменаиде Александровне, промолвит: «Восхитительно, ma chere!» и поцелует ее.

Время между тем движется понемногу. Вот уж и половина двенадцатого.

– А что, – заметит Алексей Афанасьич, потирая свой желудок и поглядывая на Лидию Ивановну, – не пора ли и закусить, что-то есть смертельно захотелось.

– Ну что ж? прикажите, – заметит Лидия Ивановна.

И тогда послышится гармонический для гостей стук тарелок и ножей. На круглом столе, на котором за три часа перед тем дымился чудовищный самовар, появится добрый кусок солонины, сыр, масло, груда вареного картофеля, а на другом столике – водка и тарелка с солеными грибами.

– Ну-ка, господа, водочки… без этого нельзя, да закусите грибком-то, чудные грибки! Я сам собирал их! – воскликнет добродушный Алексей Афанасьич, наливая себе рюмку водки. – Садитесь, господа, садитесь… чем бог послал, не взыщите…

И все разместятся, теснясь друг к другу, за столом: дамы и более почтенные из мужчин ближе к тому краю, где Лидия Ивановна, а остальные около Алексея Афанасьича.

– Ах, какая солонина-то! – непременно заметит Алексей Афанасьич, приступая к ее разрезыванию, – посмотрите, посмотрите, сок так и льет, а жир-то какой, настоящий янтарь!

– Из мира фантазии перейдемте-ка, господа, к действительности, к существенному, – заметит Иван Алексеич, глядя с приятностью на гостей, указывая с жадностью на солонину и кладя себе на тарелку два огромных куска.

И в ответ на это домашнее остроумие всегда, бывало, раздастся добродушный смех.

Всякий четверг повторялось то же самое с небольшими изменениями. Иногда только вдруг, ненароком появится какая-нибудь неслыханная певица и прокричит какую – нибудь итальянскую арию или невиданный дотоле сочинитель с какой-нибудь ассирийскою драмою…

Но раза три или четыре в год у Грибановых бывали большие собрания в день чьих – нибудь именин или рожденья. Тогда зажигались лишние лампы, гости мужского пола надевали фрак, наезжало большое количество девиц и дам, одетых по-бальному; также показывались два штатских генерала со звездами и один военный. В эти торжественные вечера, на которых даже сам хозяин являлся не в туфлях, а в сапогах, артистические занятия отлагались в сторону: молодежь танцевала под фортепьяно, а люди пожилые и чиновные и толстые барыни в беретах садились за карточные столы… Но и тут не обходилось без поэзии. В какой-нибудь дальней комнате, в конце коридора, куда танцоры изредка забегали затянуться, Иван Алексеич собирал вокруг себя небольшой кружок молодых людей, не танцующих, самых горячих любителей искусства, и декламировал им свои стихи. Молодые люди благоговейно слушали его, и если в комнату входил лакей Макар с подносом или забегала за чем-нибудь горничная, скрипя башмаками и дверью, молодые люди махали на них обыкновенно руками, шикали и потом на ключ запирали двери, чтобы уже никто не мог помешать их эстетическим наслаждениям.

На этих вечерах разносили обыкновенно мороженое, конфекты, яблоки и варенья, и увеселения оканчивались праздничным ужином. Ужин приготовлялся человек на тридцать, но гостей обыкновенно являлось человек пятьдесят. Добрые и гостеприимные хозяева приходили в некоторое беспокойство и всё надеялись, не уйдет ли авось кто-либо из бездействовавших кавалеров до ужина, но эти кавалеры упорно держались в своих позициях, и на лице их можно было прочитать, что они именно только и ожидают ужина, что они явились

единственно для ужина, что они в тоске по ужину и внутренне проклинают всю эту нескончаемую мазурку, мучимые страшным аппетитом.

Дело оканчивалось, однако, всегда благополучно, и все возвращались домой, накушавшись досыта. Этому немало способствовала закуска перед ужином. В небольшой комнатке, примыкавшей к столовой, ставились, минут за десять до ужина, на двух ломберных столах, сдвинутых вместе, водка и закуска, состоявшая из груд нарезанной икры, ветчины и сыра. Когда мазурка оканчивалась, все кавалеры под предводительством отца и сына с некоторою дикостию бросались обыкновенно в эту комнату и разом осаждали стол с закуской. Натиск бывал так силен, что многим в эту минуту отдавливали ноги или зашибали руки, и три перемены этих груд икры, ветчины и сыра каждый раз при новом натиске исчезали в одно мгновение ока. Успокоенные таким образом, кавалеры приступали к ужину с гораздо меньшею алчностию.

Я чуть было не забыл еще замечательный факт. Грибановых нередко посещал между прочими один знаменитый литературный авторитет, которому все семейство изъявляло подобострастное уважение. Авторитет поощрял стихотворные занятия Ивана Алексеича, признавая в нем несомненный талант. И в благодарность за это авторитета сейчас же нарекли в семействе высочайшим гением, и горе было тому, кто осмеливался обнаружить сомнение в том, что он ниже Шекспира или Гомера. На такого смельчака смотрели как на слабоумного или сумасшедшего. Если авторитет обедал в семействе, перед его прибором ставили граненый хрусталь розового цвета и большие мягкие кресла, ему подавали особые кушанья. Когда он делал вид, что желает заговорить, все смолкало, а когда после обеда он закрывал глаза, развалившись в покойных креслах, то мухе не позволялось пролететь мимо него: все на цыпочках выходили вон, и сын, махая рукой отцу, имевшему иногда привычку напевать себе под нос: «Томтороро-мтом-том!» или что-нибудь вроде этого, шептал с сердцем:

– Тсс! Папенька, бога ради не шумите. Ведь Григорий Петрович начинает засыпать.

– Ай-яй-яй! – прошепчет, бывало, старик, – виноват, виноват!

И, затаив дыхание, едва касаясь носком своих туфель пола, удалится по стенке в свой кабинет.

У Лидии Ивановны всякий раз, когда она взглядывала на авторитет, захватывало дыхание, и что бы ни сказал он, хотя бы просто: «Какая сегодня скверная погода!» или что-нибудь подобное, члены семейства значительно переглядывались между собою, как бы желая сказать этим взглядом: «У! Как глубоко!»

Так, впрочем, всегда в жизни: стоит только раз приобрести себе репутацию гениального, необыкновенно умного, ученого или остроумного господина, и потом смело, хоть целый век, говори дичь – все будут слушать эту дичь, разиня рот, подозревая, что под нею кроется что-нибудь необыкновенно глубокое. В одном доме, очень средней руки, какой-то тупоумный шут прослыл почему-то за остроумнейшего господина, и я сам был однажды свидетелем, как он, вбегая в гостиную, закричал хозяйке дома: «Холодновато, холодновато, чайку бы, сударыня, чайку бы выпить», и все общество, к моему величайшему изумлению, так и покатилось от смеха; а хозяин дома, ухватив себя за бока, закричал ему: «Полно, братец, полно! Бога ради, не смеши!» и продолжал заливаться самым искренним смехом.

Над подобострастным уважением семейства Грибановых перед авторитетом многие подтрунивали, но мне всегда казалось, что авторитет, допускавший с собою такое обращение, был гораздо смешнее самого семейства.

Грибановых нельзя было не любить. Их добродушие и гостеприимство действовали на всех обаятельно. Бывало, часто становится смешно, глядя на них, но в ту же минуту внутренне говоришь себе: «Однако все-таки какие добрые и славные люди!»

Это был общий голос.

– Елейное семейство! – прибавлял обыкновенно Пруденский, один из самых ревностных посетителей Грибановых, отличавшийся особенною ловкостью и смелостью при осадах на закуски в именинные дни.

# Глава II. О том, каким образом великосветские хлыщи пускают пыль в глаза перед людьми простыми и как простые люди робеют и делаются неловкими перед великосветскими хлыщами

Вечером в один из четвергов я проезжал мимо квартиры Грибановых и заметил в их окнах необыкновенное освещение. «Что бы это могло значить? – подумал я, – сегодня, кажется, нет ни именин, ни рожденья». Эти огни подстрекнули мое любопытство, и я велел кучеру остановиться у подъезда. Вхожу на лестницу – лестница освещена двумя стеариновыми свечами в фонарях; это озадачило меня еще более, потому что даже в торжественные дни рожденья и именин в этих фонарях обыкновенно горели сальные свечи. Звоню с некоторым нетерпением. Двери отворяются тотчас, что также случалось весьма редко. В передней поражает меня лампа вместо свечки и сильное благовоние от герковских бумажек. «Эге! да тут в самом деле совершается что-нибудь необыкновенное», – подумал я. Удивление и любопытство мое возрастали с каждым шагом вперед. В зале, вместо одной, зажжено было четыре лампы; в гостиной сиял карсель, зажигавшийся раз в год и служивший более для украшения, нежели для освещения комнаты; в будуаре теплились все фонарики, разливая красноватый и неприятный полусвет, и во всех комнатах было так накурено духами, что делалась даже небольшая тошнота и головокружение. Лилия Ивановна была вся усыпана цветочками, бантиками и пукольками, цвет лица ее был необыкновенно ярок; дочка была одета также попраздничному; сын все улыбался и ходил, потирая себе руки; но что всего удивительнее – на хозяине дома были сапоги; волосы его, постоянно растрепанные, были приглажены, новый атласный галстух подпирал его подбородок. Он, видимо, чувствовал какое-то беспокойство и неловкость, два раза хотел закурить сигару и, поднося к свечке, бросал ее и морщился.

– Да что с вами, Алексей Афанасьич? – спросил я его, осматриваясь кругом и на замечая в числе гостей никакой особенности, ни даже авторитета, – вы как будто ждете, что ли, кого-нибудь? У вас что-то сегодня необыкновенное…

– Уж не говорите! – возразил он, махнув рукой и улыбнувшись, – я не знаю, собственно, для чего все это (он указал головою на лампы), и меня заставили прифрантиться, как видите. К нам хотел сегодня приехать барон Щелкалов… вы, я думаю, слыхали про него? Ну, прекрасно… да что ж он за такая важная птица, чтобы для него и сапоги натягивать, и галстух новый надевать, да и сигары, наконец, не кури! Что мне за дело что он принадлежит к высшему кругу, ведь не я к нему лезу, а он ко мне, следовательно, он должен соображаться с моими привычками… Ну, да женщины, знаете, они на это смотрят иначе… А мы с вами все-таки сигарочку выкурим… я вас угощу отличной сигарочкой, по случаю достал, пойдемте-ка ко мне.

Мы хотели уже идти, как вдруг раздался голос Лидии Ивановны:

– Куда это, Алексей Афанасьич, полноте, останьтесь, после накуритесь сколько угодно. Барон скоро приедет, ведь вы хозяин дома… кто же его встретит?

В мягком голосе, с которым произнесены были эти слова, звучала, однако, какая-то пискливая и раздражительная нота. Алексей Афанасьич едва заметно поморщился, но вслед за тем тотчас же приятно улыбнулся, взглянув на Лидию Ивановну, и произнес:

– Ну, извольте, матушка, извольте. Быть по-вашему, никуда не уйду отсюда.

И потом, обратясь ко мне, заметил шепотом:

– Делать нечего… будем сидеть у моря и ждать погоды. Начался общий разговор, но он как-то не клеился. Лидия Ивановна и Иван Алексеич слушали рассеянно, беспрестанно

посматривая на часы. Лидия Ивановна несколько даже вздрагивала при звонке, и когда в комнату входил обыкновенный четверговый гость, она с равнодушием кивала ему головой, протягивала руку и говорила: «А-а-а! Это вы? Здравствуйте».

Стеснение и неловкость сообщились от хозяев к гостям, которым к тому же хотелось ужасно курнуть, и в душах многих из них, постоянно воспевавших Лидии Ивановне гимны и мадригалы, зашевелились в эту минуту на ее счет ядовитые эпиграммы, а самолюбие еще подстрекало к этим эпиграммам, нашептывая: «Да чем же вы хуже г. Щелкалова? Отчего же для г. Щелкалова вы должны себя подвергать стеснениям и лишениям? Вам-то что за дело до него?.. Пусть Лидия Ивановна, если угодно, ходит перед ним хоть на четвереньках, да не стесняет для него вас…», и тому подобное.

Пруденский, наклонясь к своему соседу и поправляя глубокомысленно золотые очки, шепнул ему с выражением глубочайшей иронии:

– Что же этот достолюбезный гость заставляет так долго ждать себя! И зачем нас не предупредили? Мы уж облеклись бы в мундиры и с треуголками пошли бы к нему во сретенье.

Внутренний ропот и неудовольствие против хозяев накипали в груди гостей с каждой минутой, а к барону Щелкалову они начинали чувствовать просто неприязненное расположение и ожидали его, как врага.

Уже было половина десятого, но никаких признаков приготовлений к чаю. Пелагея Петровна, в чепце с голубыми бантами, по временам появлялась на минуту в залу взглянуть на часы и потом снова исчезала.

Один из гостей поймал приживалку:

– Послушайте, Пелагея Петровна, – сказал он, – ужасно пить хочется. Что, у вас будет нынче чай или нет?

– Уж не говорите! – отвечала Пелагея Петровна, – помилуйте, два часа все приготовлено. Самовар уже давно кипит, да вот вишь, ждут этого князя, что ли, какого. Слыхано ли, в самом деле, до десятого часа эдак маяться без чаю!

– Да где же приготовлено, – возразил гость, – еще и круглый стол не поставлен.

– Нынче у нас все ведь по моде, так, как в знатных домах, – заметила не без иронии Пелагея Петровна, – чай будут разносить на подносе, а я разливаю в задней комнате.

Пелагея Петровна полагала, что в знатных домах наливают всегда чай в задних комнатах.

Прошло еще четверть часа мучительных для хозяев ожиданий. Вдруг в исходе десятого часа, в ту минуту, как Лидия Ивановна смотрела на часы, стоявшие на камине, раздался из передней резкий звонок. Она быстро взглянула в зеркало, поправила свои пукольки, прищурила несколько глаза и, обратившись к Алексею Афанасьичу, сделала ему головой значительный знак, указывая на переднюю.

Старик пошел навстречу новоприбывшему.

Пруденский, глубокомысленно поправляя золотые очки, и другие гости, в том числе и я, с любопытством обратились к двери, которая вела из залы в переднюю.

В этих дверях сначала показался господин лет за сорок, одетый щегольски, с большими, туго накрахмаленными воротничками и с развязными манерами, – литературный дилетант, по фамилии Веретенников, изредка появлявшийся по четвергам и более или менее уже знакомый всем нам.

Он принадлежал к тому петербургскому кружку, который немного повыше среднего и очень пониже высшего. Двоюродная сестра этого господина была замужем за каким-то князем, двоюродным братом одного значительного лица. Это было известно всем, кому хоть сколько-нибудь был известен Веретенников, беспрестанно употреблявший в разговоре такие

фразы: ma cousine princesse N*, мой зять князь N, граф С – двоюродный брат моего зятя князя N, и так далее.

Желая чем-нибудь обратить на себя особенное внимание своего кружка, Веретенников пустился в литературу, написал небольшой рассказ из светской жизни и прочел его в одном салоне средней руки. Рассказ был найден дамами прелестным, и они в особенности были поражены тем, что на русском языке можно делать недурные каламбуры: у Веретенникова было несколько довольно удачных. Рассказ этот появился впоследствии в каком-то журнале, после чего Веретенников уже вообразил, что русская литература без него обойтись никак не может и что деньги так и посыплются к нему. Ободренный этой фантазией, он начал замышлять роман, приступил к делу и через несколько времени явился с началом романа к журналисту с тем, чтобы запродать свое произведение за какую-то баснословную сумму, заметив, впрочем, что эта сумма назначается им в помощь одному бедному семейству, а что сам он вовсе не нуждается в деньгах, что ему нет необходимости жить собственными трудами, и проч. Начало оказалось, впрочем, так плохо, что его и даром напечатать не было никакой возможности. С этих пор дилетант несколько охладел к литературе, не писал ничего более, а на вопросы своих приятелей: «Что ж, братец, твой роман-то? скоро ли он будет печататься?» – отвечал обыкновенно: «Я, право, не знаю, мне не хочется связываться с этими журналистами… я напечатаю его отдельно… у них там свои какие-то партии… Я хочу как можно подальше держать себя от этого мира. Ведь не литератором же сделаться мне, в самом деле!..»

Знакомство его с Грибановыми совпадает с эпохою печатания его знаменитого рассказа. Много лет прошло после того; все, разумеется, давно забыли о его существовании, а Веретенников до сей минуты еще повторяет при всяком случае: в моей повести, моя повесть, и пр.

Литераторы не любят Веретенникова, потому что перед ними он корчит светского человека и все толкует о своих приятелях князьях, графах и баронах; а светская молодежь смеется над ним, потому что в кругу ее он корчит литератора.

– Имею честь представить… Барон Щелкалов! – сказал Веретенников хозяину дома, указав на господина, следовавшего за ним, поправив свои воротнички и выставив одну ножку в лакированном сапоге вперед.

Щелкалову казалось лет под тридцать. Он был высокого роста и недурен собой: черные и волнистые густые волосы, черные довольно выразительные глаза, небольшой, немного приподнятый кверху нос и в глазу стеклышко, с которым он как будто бы родился. Одет он был с тою щегольскою небрежностью, к которой тщетно стремятся некоторые франты всю жизнь и так и умирают, не достигая ее; сложен был очень недурно, но держался странно, как будто бы все члены его ослабли, завяли или развинтились: голова, казалось, едва держалась на плечах, руки болтались, опущенные, спина была несколько сгорблена. С первого раза можно, пожалуй, было принять его за больного, но стоило только попристальнее взглянуть на него, чтобы совершенно разубедиться в этом. Смуглое лицо его выражало, напротив, цветущее здоровье и несомненную силу. Человек простой призадумался бы при этом странном явлении, а для человека светского оно не казалось нисколько странным и объяснялось очень легко и просто довольно странным словом – шик (du chic). В самом деле, эта слабость, завял ость или развинченность, как хотите, была – шик.

Веретенников сиял от удовольствия, представляя барона Щелкалова. В глубине своей он благоговел перед Щелкаловым и смотрел на него как низший на высшего, потому что Щелкалов посещал такие дома, которые были недосягаемы для Веретенникова, и говорил свободно, зевая, заложив пальцы за жилет, с такими дамами, при одной мысли о которых у Веретенникова захватывало дыхание; но свое благоговение, свою внутреннюю подчиненность перед Щелкаловым он скрывал усильно: смертельно боялся, чтобы какой-нибудь

наблюдательный глаз не подметил ее, и поэтому обращался с ним неестественно фамильярно.

Хозяин дома крепко пожал руку Веретенникова и протянул ее к барону не без чувства. Барон слегка и рассеянно пожал ее и начал смотреть на стены в свое стеклышко.

– Милости просим, пожалуйте в гостиную, – говорил старик в некотором замешательстве, – сделайте одолжение.

– Что это? – спросил Щелкалов, не слушая приглашений старика и остановя свое стеклышко на картине, изображавшей какую-то детскую головку. – Копия с Грёза, что ли?

– С Грёза, – воскликнул обрадованный старик. – Ведь прекрасная вещь, не правда ли?

Он растрогался и начал смотреть на картину слезящимися глазами.

– Недурная копия, – продолжал Щелкалов с видом знатока, закладывая руку за жилет и слегка искривив в сторону нижнюю губу, как бы желая зевнуть. – Вы охотник, что ли, до картин?.. Заходите когда-нибудь ко мне. У меня есть настоящий Грёз… Ты знаешь, Веретенников, князь Чамбаров мне давал за женскую головку три тысячи рублей, но я ее не отдам и за десять.

Лидия Ивановна, выглядывавшая из дверей гостиной, следила с любопытством за движениями гостя и прислушивалась к его речам, стараясь, впрочем, скрыть это от других гостей и казаться совершенно равнодушною.

– У моего приятеля есть настоящий портрет Грёза, писанный им самим… Удивительный портрет… Ты знаешь, Веретенников, – у Левушки?

Проговорив это, как-будто бы кто-нибудь заставлял говорить его насильно, Щелкалов, лениво волоча ноги, сделал несколько шагов вперед и очутился в самых дверях гостиной.

Веретенников юркнул вперед и представил его Лидии Ивановне.

Щелкалов, не выпуская из глаз стеклышка, слегка наклонил голову в ответ на ее французское приветствие.

– Вот, барон, моя дочь, – сказал Алексей Афанасьич, – а вот и сын, вы с ним, кажется, уже знакомы; милости прошу садиться, – и старик подставил ему кресла. – Теперь пора бы и чайку, – продолжал он, взглянув на Лидию Ивановну.

Лидия Ивановна бросила косвенный взгляд на Алексея Афанасьича и чуть-чуть пожала плечами, как бы желая сказать этим: «Да когда же вы будете уметь себя вести при чужих как следует?»

Между тем Щелкалов протянул руку сыну и заговорил, не обращаясь, впрочем, ни к кому и все посматривая на потолок в свое стеклышко, хотя потолок не представлял ничего особенного.

– Как же, мы старые знакомые… Ну что, батюшка, не написали ли вы чего-нибудь новенького?.. У вас славный стих!

Стеклышко барона с потолка перешло на хозяев и потом на гостей… Он начал всех нас рассматривать с такою беззастенчивостью, с какою обыкновенно рассматривают неодушевленные предметы. В это время Веретенников заливался, как соловей: рассказывал анекдоты, цитировал известные рукописные эпиграммы и вообще блистал любезностью. Зашла, между прочим, речь о странностях покойного Крылова. Лидия Ивановна ловко этим воспользовалась, обратилась к барону с приятнейшею улыбкою и сказала по-французски:

– Я слышала, барон, что вы также занимаетесь поэзией?

– Да, так иногда, от нечего делать, – отвечал барон по-русски. – У меня есть маленькая способность писать стихи… ваш сын находит тоже.

Щелкалов писал стихи в альбомы разным дамам и был, говорят, совершенно убежден, что ему стоило только небольшого усилия, маленького труда для того, чтобы стать наряду с Пушкиным и Лермонтовым. Этим отчасти объяснялось его внезапное появление в литературном и артистическом семействе Грибановых.

– Я надеюсь, барон, что вы будете так добры, прочтете нам что-нибудь, – продолжала Лидия Ивановна, заиграв глазами, как во время оно, и устремляя их на Щелкалова.

– Пожалуй, – произнес небрежно Щелкалов; не смотря на нее и закинув голову назад; продолжал, как будто про себя: – У меня много стихов… что бы вам прочесть?.. постойте… постойте…

– Прочти, братец, – возразил Веретенников, – последние твои стихи в альбоме графини Воротынцевой… C'est charmant! c'est charmant!

– Да, как бишь они начинаются?.. У меня такая плохая память…

Я вам скажу, я вам скажу… – О нет, не так, – перебил Веретенников, – ты врешь.

Сказать, графиня, что вы милы… – Ах, да, да, да!

Сказать, графиня, что вы милы, Что вами наш гордится круг; Что вы как солнце; что светилы Все остальные меркнут вдруг, Поглощены огнем и светом Чудесной вашей красоты, Что ароматом вы и цветом Затмили лучшие цветы. – Цветок роскошный и прелестный! Но это всем давно известно. Нет, лучше это позабыть И с безмятежностию чинной Любовью кроткой и невинной, Любовью братской вас любить! Продекламировав эти стихи с сильными ударениями и с некоторою торжественностию, Щелкалов обвел взором все собрание с таким самодовольствием, как будто бы хотел сказать: «Ведь вот вы здесь, верно, все литераторы, а попробуйте написать так!»

– Ах, как это грациозно! – воскликнула Лидия Ивановна, обращаясь ко всем нам.

Иван Алексеич смотрел в глаза Щелкалову во время декламации с большою приятностью, покачивая в такт головою, что не помешало ему, однако же, заметить соседу шепотом:

– Пошлые стишонки… И ведь вот чем забавны эти господа: напишут какой-нибудь мадригальчик, думают, что сделали дело, и счастливы.

Все мы, за исключением Веретенникова и дам, присутствовавших тут, разделяли, кажется, о стихах Щелкалова мнение, сообщенное на ушко Иваном Алексеичем. Все мы с некоторым внутренним негодованием и отчасти даже со злобою, смотря на него, думали: «Вот пустейший-то господин!», но если Щелкалов обращался во время разговора к кому-нибудь из нас, он встречал и приветливый ответ, и привлекательную улыбку… Признаться, мы несколько завидовали его смелости. Мы, которые были чуть не с детства знакомы в доме, чувствовали себя не совсем свободными с Надеждой Алексеевной и даже иногда не находили предмета для разговора с нею; а он, в первый раз в жизни видевший ее, уже сидел возле нее, наклонясь к самому ее плечу, приняв живописно небрежную позу, и так свободно разговаривал, как будто бы век был знаком с нею, так смело и дерзко глядел на нее, что бедная девушка должна была даже вспыхивать и потуплять глаза.

– У вас, говорят, очень приятный голос. Правда это? – спросил он ее.

– Нет, – отвечала Наденька, – я пою дурно.

– О! Будто?.. Ну спойте что-нибудь; я вам скажу правду.

– Ни за что.

– Вы капризничаете. А вот я пожалуюсь на вас папеньке или тетеньке… Это ваша тетенька?.. Что! вы, я думаю, боитесь ее?.. Хотите, я буду вам аккомпанировать?

И Щелкалов подошел к роялю, взял несколько аккордов, сам что-то такое промурлыкал и между тем смотрел на Наденьку, как бы вызывая ее.

Лидия Ивановна начала упрашивать барона, чтобы он спел, говоря, что она очень много наслышана об его удивительном голосе; Алексей Афанасьич присоединил к этому свою просьбу.

– Пожалуй, но с условием, – возразил Щелкалов, обратясь к старику, – чтобы потом нам спела что-нибудь ваша дочь… Иначе я не пою.

– Слышишь, Наденька? – сказал старик, обращаясь к ней с улыбкою…

– Я надеюсь, Nadine, что ты исполнишь просьбу барона? – прибавила Лидия Ивановна.

Наденька была в замешательстве и молчала.

– Она будет петь, я вам даю за нее слово, – произнесла Лидия Ивановна.

– Ну, в таком случае, хорошо… Видите ли, я не так капризен, как вы, – прибавил он, обращаясь к Наденьке, и, пробежав руками по клавишам, запел:

Я видел деву на скале…

У Щелкалова был не столько приятный, сколько сильный голос, и пропел он не без эффекта.

Как водится, раздался гром рукоплесканий, когда он кончил, и даже Пруденский, все время искоса смотревший на него в свои очки, воскликнул: «Превосходно!» и заметил мне шепотом: «Хотя пустой человек, но несомненно обладающий светскими талантами…», и при этом глубокомысленно поправил свои золотые очки.

Наденька пропела какой-то романсик дрожащим голосом, Щелкалов перевертывал ноты и говорил ей вполголоса одобрительным тоном: «Brawo! Brawo! Charmant… только посмелее!» А молодой человек, влюбленный в нее, стоял как убитый, прислонившись к печке, и от времени до времени бросал сердитые взгляды на Щелкалова. Другой романс Наденька спела уже гораздо лучше. Щелкалов торжественно объявил, что у нее голос превосходный, чистейший soprano, и что ему недостает только методы и обработки… В заключение он спел с ней дуэт, не помню из какой-то итальянской оперы, и сказал, пристально взглянув на нее в свое стеклышко, взяв ее руку и крепко пожав ее:

– Право, недурно!.. Учитесь, – продолжал Щелкалов, – у вас отличные музыкальные способности. Хотите взять меня в учители? – прибавил он, улыбаясь и нимало не обращая внимания на ее замешательство.

Лидия Ивановна была в восторге от барона; он был героем этого вечера; Веретенников – его наперсником, а все мы остальные – статистами.

Этот вечер живо врезался мне в память со всеми мелкими подробностями. У меня как теперь перед глазами Макар, единственный лакей Грибановых, – рослый, неуклюжий, нечистый, всегда ходивший в длинном сюртуке и с голыми руками, – вдруг появившийся во фраке, в нитяных перчатках, с серебряным подносом и с особенною торжественностью на лице, прямо направлявший шаги свои мимо дам к Щелкалову, и невиданный до тех пор в доме казачок, также в нитяных огромнейших перчатках, следовавший за Макаром с другим подносом, усыпанным различными хитрыми сухариками, крендельками и печеньями. Я никогда не забуду удивления Макара, когда Щелкалов отказался от чая, и его вопросительных взглядов, переходивших от барона к Лидии Ивановне и обратно; трех безмолвных барышень, сидевших рядом и как две капли воды похожих одна на другую, переглядывавшихся между собою при каждом слове и движении Щелкалова, и четвертую, постарше первых трех, пребойкую особу с двойным золотым лорнетом на цепочке, с взбитыми спереди и закинутыми назад волосами, которая после Девы на скале, пропетой Щелкаловым, шепнула первым трем так, что я мог ясно слышать: «Ах, mesdames, просто чудо, душка!..»

Щелкалов, разлегшись в креслах, начал что-то рассказывать, и все слушали его, затаив дыхание; потом он встал, рассеянно подошел опять к роялю, заиграл польку и вдруг остановился, не кончив ее; стал посреди залы, осмотрел барышень в свое стеклышко с ног до головы и, обращаясь к Лидии Ивановне, сказал:

– А что, из них кто-нибудь полькирует?

Все мы были поражены этим странным вопросом, особенно тоном, с которым он был предложен, а Пруденский, поправив свои очки, заметил:

– Это уже, кажется, переходит за ту черту, которая разделяет светскость от наглости… – И при этом прибавил с ироническою улыбкою: – От великого до смешного один шаг.

Даже восхищенные Щелкаловым барышни, по-видимому, несколько оскорбились этим вопросом, и бойкая барышня с двойным лорнетом, ловко играя им, заметила по – французски, несколько прищурив глаза и не обращаясь к барону:

– Да что ж за новость танцевать польку? (Хотя полька, надобно заметить, была точно в то время еще новостью.)

– А вы танцуете? – спросил Щелкалов, обратясь к ней. Барышня засмеялась громко и не без аффектации обвела взором все собрание, как бы желая обратить внимание на свою смелость, и сказала очень резким тоном:

– Ну да. Что же из этого?

– Ничего особенного, – возразил Щелкалов, – кроме того, что в таком случае я желал бы сделать с вами один тур.

И он, без дальнейших объяснений, обвил одною рукою стан барышни и, повернув голову назад, спросил:

– Кто ж будет играть?

– Nadine, сыграй ты! – воскликнула Лидия Ивановна.

Наденька села за рояль. Все отодвинули свои стулья к стене. Раздались звуки польки, и Щелкалов, не выбрасывая из глаза стеклышка, начал извиваться по комнате со своею дамою. Это продолжалось довольно долго, потом он несколько раз перевернул ее и почти бросил на стул.

– С вами полькировать очень ловко, – сказал он, – после графини Высоцкой вы полькируете лучше всех, с кем я танцевал.

Бойкая барышня замерла от восторга при этом замечании. Она подошла к своим безмолвным и робким подругам и что-то шепнула им, закатив зрачки под лоб от умиления, и потом нахмурила брови и с презрительною гримасой кивнула головой в нашу сторону.

Я угадал этот шепот.

Барышня шептала:

От него (т. е. от барона) можно с ума сойти, это уж не то, что ваши неуклюжие-то ученые (т. е. мы).

Часу в первом в исходе, в то время, когда уже в зале накрывали на стол и Пелагея Петровна бегала впопыхах за кулисами, бранясь с Макаром и подирая за уши казачка, Щелкалов взялся было за шляпу. У Лидии Ивановны выступил холодный пот ужаса.

– Барон, что это вы? куда вы? – воскликнула она. – Сейчас подадут ужин… Не угодно ли вам будет чего-нибудь закусить, так, запросто, по-домашнему?

– Я никогда не ужинаю, – отвечал барон, – и к тому же что-то нехорошо себя чувствую… да и пора уже.

Барон взглянул на часы и зевнул.

– Я прошу вас, останьтесь, барон, – продолжала Лидия Ивановна, – может быть, вам придет аппетит и вы чего-нибудь скушаете. M-r Веретенников, я вас ни за что не пущу.

И Лидия Ивановна с любезностью отняла у него шляпу.

– Попросите барона, чтобы он остался, – прибавила она самым сладким и вкрадчивым голосом.

– Послушай, – сказал Веретенников барону, отведя его несколько в сторону, – в самом деле, останься, неловко… Они ведь для тебя, я думаю, состряпали неслыханный ужин, разорились!.. Ты, если не хочешь есть, то хоть посмотри на него. Все же им будет легче. Зачем этих бедных людей приводить в отчаяние?.. Останься…

– Ты думаешь? – возразил Щелкалов, зевая, – пожалуй. И он бросил свою шляпу, к несказанному удовольствию Лидии Ивановны.

– А знаете, – произнес Пруденский, обращаясь к сидевшим возле него, в том числе и ко мне, и понюхивая табак с расстановкой и глубокомысленно, потому что Пруденский делал

все, даже и нюхал табак, глубокомысленно, – знаете, что нет худа без добра. Пословицы всегда верны, это практические выводы народной жизни. Если бы здесь не было сегодня этого ловкого светского фата, мы не имели бы такого ужина, который нас ожидает. Я предвижу, что это будет нечто вроде фестеня.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.